

Поэт Евгений Александрович Евтушенко 7 месяцев в году живет в Америке, где преподает, а 5 — в России, где живет, выступает, встречается с читателями и ездит по стране. А в этом году — открывает в своем семейном доме на станции Зима «Дом поэта» и устраивает в Сибири Первый международный фестиваль поэзии. А еще, по сложившейся традиции, празднует свой день рождения в Политехническом. Семь лет назад поэт заключил с музеем договор, по которому такие вечера должны проходить до 18 июля 2019 года.

Задавать вопросы Евтушенко (в дальнейшем Е.А.) — дело непростое. Упомянешь какое-нибудь место — а он там был, назовешь фамилию — а у него с этим человеком свои, личные, иногда очень сложные отношения. И беседа уплывает, растекаясь на ручейки и превращая интервью в безразмерное море-океан. Стараясь передать ощущения от настоящего разговора с Е.А., мы попытались сохранить все, им сказанное. Но некоторые истории и размышления пришлось назвать «отступлениями» и пометить курсивом.

— Семь лет назад мое соглашение с Политехническим выглядело нонсенсом. Ведь интерес к поэзии тогда практически сошел на нет. И книжки поэты были вынуждены выпускать за свой счет (даже я две выпустил), и телевидение от поэзии отвернулось. Мои 104 телевизионные программы о русских поэтах все время зажимали, просили денег, требовали, чтобы стихи разбивались рекламой. А ведь даже в самые тяжелые, подцензурные времена на ТВ транслировали поэтические вечера...

Отступление о первом официальном есенинском вечере 65-го года, на котором Е.А. прочел свое «Письмо Есенину»: «Когда румяный комсомольский вождем, / На нас, поэтов, кулаком грохочет, / И хочет наши души мять как воск, / И вылить свое подобье хочет, / Его слова, Есенин, не страшны, / Но тяжело быть от этого веселым, / Не хочется, поверь, задрав штаны, / Бежать за этим комсомолом». И трансляцию прервали, а на экранах появился черный квадрат. Без упоминания Малевича.

— Тогда еще не было большой поэзии, только поэтическое слово, которому верили. В 55-м году я написал стихотворение «Границы мне мешают, мне неловко. / Не зная Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. / Хочу шататься сколько надо Лондоном, / Со всеми говорить хотя б на ломанном, / Мальчишкой, на автобусе повисшим, / Хочу проехать утренняя Парижем». Оно вызвало шок, казалось чем-то невозможным, никто и представить не мог, что можно такое сказать. Неверно говорят, что мы — дети XX съезда. Это именно мы выдыхали воздух, позволивший Хрущеву сделать свой знаменитый доклад. Поэты — это инстинкт нации, а он иногда умнее ума.

— Простите, но, честно говоря, не хочется в очередной раз вспоминать о Хрущеве, цензуре и перестройке. Мы ведь уже довольно давно живем в другом — совсем не героическом — времени.

— Мои слова могут раздражать только циников. Вам лично может казаться, что вы пересели историй о войне с бюрократией, которую вели писатели при советской власти. Но я буду рассказывать об этом хотя бы для того, чтобы вы поняли, какой трагедией было для всех нас увидеть, что многое из того, за что мы боролись, оборачивается сегодня нашим уродством. Но в истории, к сожалению, победы часто оказываются в руках мародеров, появляющихся на поле битвы под покровом темноты.

Ковбой по имени Женя

Он был недавно представлен Евгению Александровичу Евтушенко



Сергей ХВОРОСТОВ

знак большого поэта, это лишь необходимое условие.

...Нас, поэтов, осталось немного.

— Только в России или во всем мире?

— Поэты везде в дефиците. Ведь, как говорит восточная пословица, из тысячи кошек нельзя сделать одного льва. Вот в Сибирь, на фестиваль, я везу очень интересного американского поэта Рея Макниса. Он представитель нового направления, левое, многое взявшего от битников. Они — живые. А то, что печатается в «Нью-Йоркере» — это «kitten shit». То, что когда-то было протестом, стало академией. Это абстрактная поэзия, ее можно назвать постмодернистской. Такая поэзия не трогает глобальных процессов, играет в чистоплюйство, оставляя народ наедине с грязной и лживой мордой политики. А ведь сегодня вокруг нет неглобальных проблем: и проблемы рабочего класса, и засилье массовой культуры.

У нас тоже сплошные чистоплюи. Вы читали мою поэму «Голубь в Сантьяго»? Она о любви и самоубийстве. Никогда не забуду, как одна очень хорошая поэтесса, услышав слово «Чили», скривилась: «Ах, оставь ты про свое Чили!» — а ведь поэма — о любви, Чили там — лишь фон, место действия. Я писал ее во время тяжелого развода, когда мне в голову тоже пришла мысль о самоубийстве. Поэма меня вылечила. Там есть строчки «На свете нет, пожалуй, человека, не думавшего о самоубийстве». Это была не более чем гипотеза. Но недавно мы обсуждали эту поэму с моими студентами. Дело в том, что меня долгие годы все напророчили прочесть лекцию о себе. Я отказывался, а потом мне стало интересно. Молодым людям нужно раскрыть себя. В поэзии, вообще в литературе нельзя без исповедальности. Да, над вами кто-то может посмеяться и усмехнуться. Но могут и открыть душу.

...И мои студенты в процветающем американском городке Талса, где люди боятся выглядеть неудачниками, признались, что тоже думали об этом. Ректор даже меня спросил: правда, что у тебя исповедовались и плакали, прямо как в церкви? Для одного такого урока стоило писать, преподавать и жить вообще. Борис Леонидович Пастернак при последней встрече говорил мне, что сила слова такова, что, предсказывая свой трагический конец, мы сами приближаем его, как Есенин и Маяковский. И добавил: «Я это понял и только благодаря этому стал долгожителем».

Когда поэма «Голубь в Сантьяго» была переведена, я получил 350 писем с благодарностью, что она спасла от самоубийства. Я даже себя зауважал... Вернее, не то что «зауважал»... Просто иногда возникает сомнение в своем деле: ну чего ты там пишешь, кто это читает, кому это нужно? Когда я начинал, я всегда слышал эхо, сейчас многие слова уходят в безмолвие, как в вату. Мой друг, английский поэт, потрясающе переведший мои в принципе непередаваемые «Метаморфозы», уже лет 20 не пишет. Говорит: «Все, кому я хотел прочесть свои стихи, умерли». Это ложное ощущение. Ведь рождаются новые! На своих вечерах в Политехническом я отмечаю, как год от года становится все больше молодых лиц в зале.

— Как же так: поэтов у нас нет, а читателей становится все больше и больше?

— Вы читали мои стихи на смерть Окуджавы? Я там описал, что в скорбной очереди к его гробу не было студентов, не было людей среднего возраста. Шестидесятники и подростки. Для того чтобы вернулся читатель, нам нужны другие поэты — поэзия которых одновременно и их личная исповедь и исповедь тех, кто стихов не пишет. К поэтам, которые равнодушны к другим, и люди будут равнодушны. Несколько лет назад я дал кров одному способному поэту — студенту Литературного института. В это время умер Владимир Соколов. Я на один день прилетел из Америки на похороны. Жилец мой не сел в машину ехать на панихиду, а сказал: «Ну, Евгений Александрович, это был ваш друг, я понимаю. Но мы ведь уже другое поколение». Я понял, что он никогда не станет настоящим поэтом. Ведь Соколов — часть поэтического воздуха России, и он принадлежал всем поколениям.

Отступление о том, как Е.А. впервые дал прочесть Платонова Вампилову и Распутину. И как последнему пришлось в голову, что именно Е.А. виноват в развале СССР. А Е.А. воспринял развал как катастрофу, над которой до сих пор иногда плачет. И о том, как Е.А. пытались поспорить с Николаем Рубцовым. А ведь он его впервые напечатал, Рубцов даже хранил бумагу из журнала «Юность», где стояла виза Е.А. и ответ Бориса Полевого: «Что, Евтушенко, с ума что ли сошел, это печатать?»

— Как вы считаете, почему вас все время со всеми ссорят?

— Вы, видимо, просто не понимаете, что случилось в моей жизни. Мне просто-напросто повезло. Произошло невероятное совпадение стихов с переломом времени. Мир не знает случая, когда стихотворение, которое выходит в России, в течение недели появляется на первых полосах газет во всем мире. А у меня так случилось с «Бабьим Яром» и «Наследниками Сталина». Я получил при жизни такую славу, которой не получил ни один поэт мира, хотя достаточно перечитать Шекспира или Пушкина, чтобы не слишком зазнаваться. Но слава эта не была бесплатной, за нее я получал и политические оскорбления, и угрозы, и зависть, иногда, к сожалению, не только от коллег бездарных, но и от талантливых, думавших, что я у них что-то отбираю. Хотя чем-чем, а этим я никогда не занимался.

А недавно в Америке я выступал на ковбойском фестивале.

Отступление о ковбоях, которые держат телевизоры в конюшнях на случай торнадо. Они — последний родник народного творчества.

— На фестивале ко мне подошла ковбойская семья со всеми моими книжками. Родители, еще совсем не пожилые люди, познакомили меня с 12-летним мальчиком по имени... Женя. Оказывается, его мама, уже беременная, слушала мое выступление в Техасе. И назвала сына в мою честь.

Отступление о Галине Волчек, которая чуть-чуть не родила сына Дениса в Политехническом музее, когда Е.А. читал свое стихотворение «Бабий Яр».

— У меня в одной Америке вышло 18 книг, а мое стихотворение «Окно выходит в белые деревья» включено в школьную программу. Это отнюдь не значит, что я самый великий. Самые великие у нас не только поэты, но надеюсь, что и впереди.

Беседовала Юнна ЧУПРИНИНА

Многие писатели наши, которые довольно достойно себя вели во времена номенклатурного псевдосоциализма, столкнувшись с отечественным капитализмом, растерялись перед этим незнакомым и страшным зверем.

Отступление о Паустовском, акварелисте в прозе и льве в речах, и травле Владимира Дудинцева, когда Е.А. прочел стихотворение «Артиллерия бьет по своим» Межирова, но, не желая его подставлять, объявил, что автор этих стихов погиб на войне. Межиров слушал, плача, а потом сказал: «Женя, ты сказал правду».

— На тусовках (я их не любил, но иногда хожу, ведь писатель должен бывать везде) я вижу, как мои товарищи заискивают перед капиталистами, и мне становится так стыдно, что хочется закрыть глаза. И когда хорошие актеры вынуждены рекламировать всякую дрянь, тоже сердце разрывается. Есть какая-то грань, которую нельзя переходить.

— Вам не кажется, что это их выбор?

— Возможно. Но как я могу не говорить о том, о чем кровоточит мое сердце? Я горжусь тем, что совершенно независим и никогда ни перед кем не пресмыкался. Я не потерял веры в свою профессию, я 23 года собирал антологию русской поэзии XX века, а сейчас делаю очередное безнадежное дело: антологию всей русской поэзии. Это будет трехтомник, и он выйдет уже в конце лета.

— Чем вы руководствовались, выбирая подборки для антологии?

— Собственным вкусом, что естественно. Единственным, кому я дал карт-бланш, был Бродский. В силу наших напряженных отношений, образовавшихся по его вине, а вернее, стараниями его «друзей». Он мог выбрать любые 660 строк, а выбрал только то, что было написано на Западе, эту подборку я и включил в английское издание.

Отступление о Бродском, его желании стать интеллектуальным

западным поэтом и о том, что писать стихи на чужом языке не получалось ни у Пушкина, ни у Лермонтова.

— А в русском издании я включил ранние стихи Бродского. Потом Топоров даже сказал: «Евтушенко спас Бродского».

Бродский был последним крупным русским поэтом. Поэтом со своим лицом.

— А как насчет, скажем, Тимура Кибирова?

— Я включил его в свою антологию. Как и Бахита Кенжеева. Что я ставлю выше всего в поэзии? Эмоция. Поэтому для меня, скажем, «Товарищ, верь, взойдет она» и «Я вас любил, любовь еще быть может» очень близкие стихотворения. Часть моей души. Когда я стоял во время путча на балконе Белого дома, я хотел прочитать именно «Товарищ, верь», но меня опередили. Эмоция — это и страсть, и нежность, и мысль, даже высказанная в сухой форме. Как, например, четверостишие Тютчева о России.